Нация в русской истории

Эта статья сознательно писалась как популярная, а не как академическая работа. Я стремился максимально «облегчить» текст и потому отказался от части цитат и полностью от сносок. Но это не значит, что у настоящего очерка нет научного фундамента. За каждым тезисом, который в нем утверждается, стоят как многолетние авторские изыскания, так и данные, почерпнутые из авторитетных научных трудов. Некоторые из них не могу не упомянуть с благодарностью. Прежде всего это четырехтомник, созданный большим авторским коллективом (издание продолжается), «Окраины Российской империи» под общей редакцией А.И. Миллера (М., 2007–2008), а также монографии А.И. Миллера «“Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIX века)» (СПб., 2000) и «Империя Романовых и национализм» (М., 2006), А.Л. Зорина «Кормя двуглавого орла...: Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII — первой трети XIX века» (М., 2001), Е.А. Правиловой «Финансы империи: Деньги и власть в политике России на национальных окраинах. 1801–1917» (М., 2006), немца А.Каппелера «Россия — многонациональная империя» (М., 1997), англичан Дж. Хоскинга «Россия: народ и империя» (Смоленск, 2001) и Д.Ливена «Российская империя и ее враги с XVI века до наших дней» (М., 2007). Некоторыми ценными сведениями я обязан фундаментальной двухтомной «Социальной истории России периода империи» (XVIII — начало XX века)» Б.Н. Миронова (СПб., 2003). Следует также отметить содержательные сборники научных работ «Новая имперская история постсоветского пространства» (Казань, 2004) и «Российская империя в зарубежной историографии» (М., 2005) (особо выделю статьи Н.Найта, А.Реннера, У.Сандерленда, Р.Суни). Факты по финскому вопросу заимствованы из специальной работы И.Н. Новиковой. Для понимания европейского контекста проблемы весьма полезными оказались коллективная монография «Национальная идея в Западной Европе в Новое время» (М., 2005), исследование М.В. Белова «У истоков сербской национальной идеологии» (СПб., 2007) и капитальный (но очень неровный) опус Л.Гринфельд «Национализм: Пять путей к современности» (М., 2008). Мои нациоведческие штудии стимулировал (и стимулирует) интеллектуальный диалог с В.Д. Соловьем, чьи книги «Кровь и почва русской истории» (М., 2008) и «Несостоявшаяся революция. Исторические смыслы русского национализма» (М., 2009; в соавторстве с Т.Д. Соловей) я высоко ценю, хотя и не со всеми их положениями согласен. В той или иной степени для меня были важны мысли о национальной проблеме К.А. Крылова, М.В. Ремизова, А.В. Самоварова, П.В. Святенкова, А.И. Фурсова. На отдельные цитаты я обратил внимание благодаря Г.М. Шиманову. Основой статьи стал доклад на заседании семинара «Русская философия (традиция и современность)» (библиотека-фонд «Русское зарубежье») в октябре прошлого года, вызвавший весьма бурное обсуждение. Пользуясь

случаем, благодарю руководителей семинара А.Н. Паршина и В.П. Троицкого за возможность выступить перед столь почтенной аудиторией, и всех участников дискуссии, вне зависимости от того, высказывали ли они в адрес докладчика одобрение или критику: и то и другое очень помогло ему в дальнейшей работе.

Нация и национализм: что за терминами?

Мне уже доводилось писать на страницах «Москвы» о теоретических проблемах современного нациоведения (см. мои статьи «Пришествие нации?» (2006, № 6) и «Нация и демократия» (2007, № 10)). Вкратце обрисую некоторые из этих проблем, наиболее важные для нашей темы.

Для обыденного сознания, легко переносящего современные реалии на прошлое, кажется очевидным, что нации существовали всегда, что нация и этнос (народ) — понятия тождественные. В научном плане это убеждение подкрепляют ученые, которых принято называть *примордиалистами* (от английского *primordial* — изначальный, исконный) и которые настаивают на органичности, естественности происхождения наций, видя в современных нациях прямое, эволюционное продолжение многовекового развития древних или средневековых этносов. Примордиалисты не едины: одни трактуют нацию как биологическую популяцию (голландец Петер ван дер Берге), другие как духовно-культурную общность (немец Курт Хюбнер), но все они согласны с тем, что в ее основе лежит некая объективная реальность — кровь, язык, «народный дух», «Божий замысел», — которая в тех или иных формах реализуется на разных ступенях исторического процесса.

Примордиализму противостоит другое направление нациоведения — *конструктивизм*. Он тоже весьма разнообразен, но все его представители сходятся в том, что нации не природные (или духовные) данности, а социальные конструкты, возникшие на рубеже XVIII–XIX веков и не являющиеся непосредственным продолжением древних или средневековых этносов. Наиболее последовательный конструктивист — английский исследователь восточноевропейско-еврейского происхождения Эрнест Геллнер вообще доказывает, что не нации порождают национализм, а, наоборот, последний сам «изобретает нации». В более умеренном и сбалансированном виде конструктивизм изложен в знаменитой книге американизированного англичанина Бенедикта Андерсона с говорящим названием «Воображаемые сообщества». Андерсон не утверждает, что нации — фиктивные образования, они «воображаемы», как и любые другие большие группы людей, где каждый индивид физически не может воочию увидеть всех ее остальных членов и потому неизбежно вынужден их «воображать». Нации, конечно же, «реальны», но их «реальность» не носит онтологического характера, она конструируется в процессе человеческой деятельности с определенными практическими целями. Нации — способ упорядочивания социума, порожденный Новым временем (прежде всего массовым распространением книгопечатания), а их связь с досовременными этносами изобретена интеллектуалами для упрочения общественного единства и стабильности.

В главном (в признании объективности существования этносов и преемственности наций по отношению к ним) я, безусловно, солидарен с примордиалистами, но и закрывать глаза на весьма серьезную критику ряда положений последних со стороны конструктивистов — невозможно. Прежний, «наивный» примордиализм сегодня придется полностью отдать в вотчинное владение мобилизационной публицистике, в научном дискурсе он неуместен. Нельзя уже писать о нации так, как это делали, например, Николай Бердяев («нация есть мистический организм, мистическая личность») или Сергей Булгаков (нация — «творческое живое начало», «духовный организм, члены которого находятся во внутренней живой связи с ним»). Нельзя делать вид, что не было гигантских рукотворных усилий по формированию современных наций со стороны интеллектуалов и правительств.

Напомню хотя бы несколько фактов, чтобы не быть голословным. Якобы «народный кельтский эпос» «Песни Оссиана» был, как известно, придуман в 1760 году шотландским поэтом Джеймсом Макферсоном, а ключевые для становления чешского национализма Краледворская и Зеленогорская рукописи (в составе последней — «культовая» поэма «Суд Любуши») талантливо сфабриковали филолог Вацлав Ганка, поэт Йозеф Линда и художник Франтишек Горчичка в 1817–1818 годах. Основополагающий сербский миф о Косовской битве (1389) творился несколькими поколениями сербских литераторов во второй половине XVIII — первой половине XIX века. Подлинные же исторические источники дают совсем иную картину: в них ничего не говорится о подвиге Милоша Обилича; князь Лазарь не был верховным правителем Сербии, которая тогда находилась в состоянии раздробленности; Вук Бранкович, чье имя сделалось нарицательным обозначением предателя, вовсе не предавал Лазаря и т.д.

К моменту объединения единого Итальянского королевства (1861) письменным и устным государственным итальянским языком, основанным на тосканском диалекте, пользовались от 2,5 до 9% населения страны (были ли итальянцы единым «духовным организмом», если зачастую не могли понять друг друга?). Отсюда знаменитая реплика одного из вождей Рисорджименто Массимо Д’Адзельо: «Италия создана, но не созданы итальянцы». В полной мере эта проблема не решена и сейчас — слишком многое отличает Ломбардию от Сицилии. Еще в конце XVIII века ни о какой единой немецкой нации говорить не приходится, и южногерманский публицист Й.К. Рисбек с горечью писал, что у немцев «нет ничего от национальной гордости и любви к отечеству... Их гордость и чувство отечества пробуждаются только в той части Германии, где они родились. К другим своим соотечественникам они чужды так же, как и к любому иностранцу». Г.К. Лихтенберг шутил, что немцы не изобрели даже общенационального ругательства. Романтикам, Бисмарку и пресловутому «прусскому учителю истории» пришлось немало потрудиться для преодоления этого кричащего партикуляризма.

Наконец, даже в таком образцовом национальном государстве, как Франция, еще в 1863 году по официальным документам министерства просвещения видно, что четверть населения страны не знала французского государственного языка, для половины школьников французский не был родным языком. В северо-восточных и южных провинциях парижским путешественникам иногда невозможно было узнать дорогу — их не понимали. Французское правительство, используя административную систему, школу, армию, церковь, материальные преференции, прямые языковые запреты (закон, разрешивший факультативное преподавание в школе местных языков, был принят только в 1951 году), упорно добивалось ассимиляции своих граждан в единую нацию.

Таким образом, мысль о том, что национализм предшествует нациям, имеет вполне рациональное зерно, во всяком случае, национализм точно предшествует оформлению нации в пределах всего населения той или иной страны, так сказать, «большую нацию» конструирует «малая нация» в лице политической и культурной элиты.

Мне представляется совершенно верным тезис о принципиальной новизне наций Нового времени по отношению к досовременным этносам. Нация в сравнении со средневековым обществом поражает своей социальной, политической и культурной гомогенностью. В нации преодолеваются сословные и прочие групповые разделения, образуется единое для всех ее членов социальное, политическое, правовое, экономическое и культурное поле. Нация едина социально (ни одна социальная группа формально не является привилегированной), политически (она живет в одном суверенном государстве, не предполагающем внутри себя никаких других политических образований), юридически (в этом государстве действует единое и обязательное для всех законодательство), экономически (внутренний национальный рынок, национальное разделение труда, государственная банковская система) и культурно (все сверху донизу должны знать, кто такие Данте, Шекспир или Гете и относиться к ним с благоговением). Всего этого в средневековом обществе не было, да и в обществе Модерна сформировалось не сразу. Национальная идентичность в Новое время становится основополагающей, конституирующей, в отличие от традиционного общества, где этническая принадлежность являлась лишь одной из многих идентичностей (наряду с религиозной, сословной, региональной) и далеко не главной.

Первоначально национальное единство ассоциировалось с фигурой монарха или с государственной религией, но позднее начало жить самостоятельной жизнью, подчиняя себе и династические, и религиозные ценности. Первые проявления «чистого» национализма в Европе мы можем фиксировать уже в XVI веке. Восстание Томаса Уайета в Англии в 1553 году, бывшее прямым следствием отказа королевы Марии Тюдор согласиться на петицию палаты общин и выйти замуж за англичанина и ее желания выйти замуж за Филиппа Испанского, принципиально не использовало религиозных лозунгов, а, напротив, стремилось объединить и протестантов, и католиков

под девизом: «Мы все — англичане!» Генрих Наваррский, став королем Франции Генрихом IV, обращался к своим подданным и католикам, и гугенотам: «Все мы французы и граждане одной и той же страны».

Но все это не значит, что между досовременным этносом и нацией нет ничего общего, с моей (и не только моей) точки зрения, нация — это форма, которую этнос (естественная биологически-культурная общность) приобретает в условиях современного общества, главная ее особенность — выдвижение на первый план проблемы социально-политического и культурного единства. Или, скажем так, нация — это культурно-политическая общность, постулирующая в качестве основания своего бытия собственные суверенность и самоценность. Конструктивисты, отрицая этническую основу наций, не могут объяснить, почему для их «изобретения» понадобилась апелляция именно к чувству этнического родства, а не, скажем, к простой социальной солидарности или к экономическим интересам.

В либеральном нациоведении принято отделять нации этнические от наций гражданских — дескать, последние основываются только на так называемом конституционном патриотизме и являются абстрактными политико-правовыми, «либерально-контрактными» общностями без этнических корней. На самом же деле вне «дополитического» этнокультурного контекста «ни одна общественная лояльность не выдержит проверки согласием» (Б.Як). И в буквальном, и в расширительном смысле люди не найдут общего языка для решения социальных проблем без «богатого общего наследия воспоминаний» (Э.Ренан), само «либерально-контрактное» наследие является частью национально-культурной идентичности некоторых наций (прежде всего английской и американской). Характерно, что в обеих великих буржуазных революциях, создавших мир современной либеральной демократии, этнический фактор играл первостепенную роль, даже само сословное противостояние определялось в этнических (пусть и мифологизированных) категориях: в Англии речь шла о борьбе с «нормандским игом», а во Франции аббат Сийес от имени третьего сословия (якобы потомков галлов) рекомендовал аристократии (якобы потомкам германцев-франков) убираться обратно в тевтонские леса.

Как говорит Б.Андерсон, люди на войне умирают за Родину, а не за лейбористскую партию; гипотетические памятники Неизвестному марксисту или либералу вряд ли вызовут столько эмоций, сколько их вызывает памятник Неизвестному солдату. Лишь только начинается серьезная война, правительства самых либеральных стран апеллируют не к какому-то там «конституционному патриотизму», а к самому что ни на есть этническому шовинизму (достаточно вспомнить риторику Маргарет Тэтчер во время Фолклендского кризиса). Значит, этническая мобилизация более действенна, чем абстрактно-социальная. Не потому ли, что этничность представляет собой некое онтологическое свойство человеческой природы?

В конце концов, пусть (согласимся на минуту) нация как единое целое — идеологическая фикция, но национальное чувство, которому подвержены миллионы представителей самых разных социальных слоев, профессий,

возрастных групп, никак не может быть названо фиктивным: слишком часто благодаря ему менялся ход истории. Поэтому по большому счету вопрос об объективности существования наций можно оставить в покое, перефразировав Тютчева: если это химера, то она успешно пожирает действительность.

И все же нация не есть просто этнос, в ней этничность предельно политизирована, она если и организм, то организм политический. И национализм есть прежде всего политическая идеология, в которой высшей ценностью является нация как единое целое, как самодостаточная и суверенная культурно-политическая общность. Национализм — идеология очень своеобразная, чрезвычайно пластичная и на удивление небогатая в теоретическом плане. В определенном смысле национализм — *субидеология*, то есть он может быть использован как набор лозунгов адептами других, «нормальных» идеологий — консерватизма / традиционализма, либерализма и даже социализма / коммунизма (при том что каждая из них, доведенная до логического конца, национализм, безусловно, отрицает).

Впрочем, национализм может быть и *суперидеологией* — в случае когда «интегральные» националисты сами используют в своих интересах «нормальные» идеологии, тасуя те или иные элементы последних в зависимости от ситуации, лишь бы они способствовали силе и процветанию нации. В любом случае национализм не выдвигает какого-то особого своего социально-политического проекта, подобно консерватизму, либерализму или социализму, однако он, несомненно, открыто или скрыто демократичен, ибо апеллирует ко всем слоям социума, тем самым приглашая народные массы в политику, даже если это и не входит в его планы.

В конце Средневековья тем не менее нация была обозначением элиты (та же Священная Римская империя германской нации, под «нацией» подразумевала политическое сообщество немецких князей). За пределами Англии такое словоупотребление практиковалось вплоть до Французской революции (например, у Монтескье). Но в Англии уже в XVI веке это понятие стало применяться по отношению ко всему населению, то есть весь народ *как бы* признавался элитой. Собственно, «идея нация — символическое возвышение народа до положения элиты» (Л.Гринфельд). Действительно, очень долгое время *только символическое*. Ибо в той же самой Англии еще в сороковых годах XIX века менее 15% взрослого мужского населения могло пользоваться избирательным правом, а Б.Дизраэли с тревогой говорил о «двух нациях» внутри страны — бедных и богатых. Таким образом, можно сказать, что нациогенез есть история превращения «малой нации» — нации господ в «большую нацию» — нацию всего народа.

После этого необходимого теоретического введения обратимся наконец к русским историческим реалиям.

Цена империи

Единый русский (великорусский) этнос формируется, видимо, в конце XV — первой трети XVI века, в период образования Московского централизованного государства при Иване III и Василии III. Несмотря на очевидное своеобразие исторического развития Московской Руси, параллели с началом нациогенеза в Западной Европе напрашиваются сами собой. Говорить о нации и национализме применительно к данной эпохе, разумеется, было бы анахронизмом, но *протонациональные тенденции очевидны*.

Возникает целый пласт религиозно-мессианской словесности (из которого наибольшую известность получило Послание инока Филофея о Москве как о Третьем Риме), совершенно аналогичной по смыслу разного рода трактатам, появлявшимся почти одновременно во Франции (в одном из них говорится: «Франция — наследница Рима, и другой империи никогда более не бывать»), в Англии (в «Книге мучеников» Джона Фоукса утверждается, что англичане — избранный народ, предназначенный восстановить религиозную истину и единство христианского мира), в Испании (Б. де Пеньялос: «От самого сотворения мира испанец поклонялся истинному Богу и средь рода человеческого был первым, кто воспринял веру Иисуса Христа...»). При Иване Грозном, в период так называемых реформ Избранной рады, к управлению государством были привлечены не только аристократия и духовенство, но и купечество, верхушка посада и черносошные крестьяне. Английский историк Российской империи Доминик Ливен считает, что «если Россия и не была национальным государством в 1550 году, она была ближе к этому, чем другие народы Европы того времени, не говоря уже обо всем остальном мире», ибо в ней наличествовало «единство династии, церкви и народа».

Но практически сразу с протонациональной тенденцией выявилась и тенденция абсолютно ей противоположная — *династически-имперская*, основу которой заложил тот же Иван Грозный созданием опричнины. Тенденция эта опиралась на средневековое понимание государства как княжеской / царской вотчины, в отличие от нововременного понимания государства как общенародного дела.

На мой взгляд, победа династически-имперского сценария не являлась запрограммированной, возможны были и иные варианты. Об этом свидетельствует Смутное время. Когда все властные структуры лежали во прахе, а представители элиты соревновались в предательстве, страну от полной гибели спас торгово-промышленный класс поволжских городов во главе с харизматическим лидером Кузьмой Мининым. «Совет земли», созданный организаторами Второго ополчения в Ярославле, вполне успешно управлял не оккупированными поляками и не контролируемыми «тушинцами» территориями; позднее при его деятельном участии был созван и проведен Земский собор, избравший на трон новую династию (это к вопросу о неспособности русского человека сделать что-нибудь, кроме безобразия, в отсутствие самодержавной палки). Но как раз эта новая династия и похоронила надолго нациостроительство в России.

Алексей Михайлович, прельстившись химерой Вселенской православной империи, возродил к жизни династически-имперский проект, пожертвовав ради него протонациональным единством русского этноса. Церковный раскол скрывал под собой борьбу протоимперии против протонации. В сущности, эта подоплека раскола хорошо видна по материалам, которые приводит в своем классическом исследовании С.А. Зеньковский, но совсем недавно, практически одновременно и независимо друг от друга, появились две работы, которые акцентируют именно национальную составляющую той давней русской трагедии: книга А.Г. Глинчиковой «Раскол или срыв “русской Реформации”?» (М., 2008) и статья Т.Ф. Соловей «Старообрядчество: новый взгляд» (журнал «Свободная мысль», 2008, № 7).

Реформа Никона сопровождалась фактами очевидного русского унижения. Она проводилась греками и приезжими малороссами (от последних, кстати, в Московии ранее требовали повторного крещения), которые всеми силами старались дезавуировать «третьеримскую» идею русской избранности: на соборе 1666–1667 годов были осуждены и запрещены «Повесть о Белом Клобуке», где шла речь о первенстве русских в православном мире после Флорентийской унии и падения Константинополя, и постановления Стоглавого собора 1551 года; мелочность греков дошла до того, что собор запретил писать на иконах лики митрополитов Петра и Алексея в белых клобуках. Вот как комментирует все это Зеньковский, совершенно объективный ученый, а не старообрядческий агитатор: «Эти резолюции явились своего рода историко-философским реваншем для греков. Они отомстили русской церкви за упреки по поводу Флорентийского собора и разрушили этими постановлениями все обоснование теории Третьего Рима. Русь оказывалась хранительницей не православия, а грубых богослужебных ошибок. <...> Все осмысление русской истории менялось постановлениями собора. <...> Читая эти деяния собора, историк не может отделаться от неприятного чувства, что и лица, составлявшие текст постановлений этого полугреческого-полурусского собрания, и принявшие их греческие патриархи формулировали эти решения с нарочитым намерением оскорбить прошлое русской церкви».

Кроме того, как отмечает А.Г. Глинчикова, Алексей Михайлович, устранив и лидеров старообрядцев, и их главного оппонента Никона, расколов и обессилив Церковь, сумел таким образом вывести царскую власть из-под религиозной санкции, что стало важнейшим шагом к реализации династически-имперского проекта. В результате в стране произошел переход от национального теократического государства к патерналистской светской империи: общество сохранило прежний патерналистский тип подчинения, а власть добилась полного освобождения от какой бы то ни было моральной ответственности за свои действия перед обществом.

Наши историки-классики С.М. Соловьев и С.Ф. Платонов давно уже доказали, что реформы Петра I были подготовлены его предшественниками. К этому можно добавить, что антинациональность политики «большевика на

троне» тоже во многом предопределили его отец, брат и даже сестра-враг Софья. Все они мыслили династически-имперским образом, все они ориентировались на Запад (правда, не на протестантский, а на польско-католический), все они привечали иностранцев. Петр, продолжая их дело, осуществил радикальный социокультурный разрыв русского этноса на немногочисленную вестернизированную элиту и на весь остальной последовательно архаизируемый народ. Новая импортируемая западная культура предназначалась исключительно для императора и дворянства (до середины XIX века выходцев из низов, приобщенных к ней, буквально единицы), а старая традиционная образованность старательно уничтожалась. Напомню, что по авторитетным подсчетам академика А.И. Соболевского в допетровской Руси уровень грамотности был очень высок, даже среди крестьян — 15%. В конце XVIII века средний уровень грамотности крестьян не превышал 1%. Между прочим, Австрийская империя начала планировать введение всеобщего начального образования в конце XVIII века. Как верно пишет упомянутый выше Д.Ливен, «низкий уровень грамотности углублял культурную пропасть между элитой и массами: он являлся дополнительной причиной, по которой в 1914 году русское общество было сильнее разделено и меньше походило на нацию, чем в 1550-м».

Здесь именно не недосмотр, а сознательная политика формирования огромного человеческого массива, предназначенного для того, чтобы безропотно обслуживать романовский династически-имперский проект и его непосредственного исполнителя — дворянство, быть его пушечным мясом. Ни о какой «большой» общенародной нации при такой постановке вопроса, конечно, не могло быть и речи, и вся крестьянская политика самодержавия решительно ясна и понятна: не допустить крестьянство (а впрочем, и купечество, и духовенство тоже) на арену общественной жизни как самостоятельного субъекта. Кстати, похожая ситуация была и в Польше, только там, при отсутствии сильной монархической власти, господствовала коллективная аристократия.

Российская империя никогда не была русским национальным государством.

Во-первых, сам династически-имперский центр не считал себя исключительно русским, а, напротив, настаивал на своей наднациональности, реализуя политику «великодержавного космополитизма» (А.П. Ланщиков) фамилии Романовых, чьи амбиции далеко не всегда совпадали с государственными интересами России. Семилетняя война, участие в антифранцузских коалициях при Павле I и Александре I, обслуживание австрийских интересов в рамках Священного союза при Александре I и Николае I, «бонусы» Александра I для Польши и Финляндии — может ли все это быть названо политикой, руководствующейся национальными интересами? Такая политика лишь тешила тщеславие российских императоров, которых, как «больших», наконец-то допустили в «концерт» европейских держав. Напомню жесткую пушкинскую оценку политического наследия Александра I в письме Е.М. Хитрово от 9 декабря 1830 года, во

время первого польского мятежа: «Наши исконные враги, очевидно, будут вконец истреблены, и, таким образом, ничего из того, что сделал Александр, не сохранится, потому что ничто из того, что сделал Александр, не основано на действительных нуждах России, а лишь на соображениях личного тщеславия, театрального эффекта и т.д.». Такие разные мыслители, как И.С. Аксаков и А.Д. Градовский, М.Н. Катков и К.Н. Леонтьев, М.П. Погодин и Ф.И. Тютчев (отнюдь не революционеры!), сходились в определении имперской политики XVIII — первой половины XIX века как ненациональной или даже *анти*национальной.

Политику, неподконтрольную никаким общественным силам, конечно, удобнее осуществлять, не связывая себя с каким-либо конкретным народом, а изображая из себя «равноудаленный» от всех народов империи наднациональный центр, опирающийся на лояльность этнически разношерстной элиты, которая (лояльность) направлена не на государство как таковое, а на личность монарха. Но такая элита не может образовать нацию и в этом даже не заинтересована. Весьма характерно, что министр финансов Николая I граф Е.Ф. Канкрин предлагал переименовать Россию в «Романовию» или в «Петровию». Что ж, в этом была своя логика... В принципе подобная политика свойственна для большинства континентальных империй, но если искать наиболее близкие ее аналогии, то это будет даже не монархия Габсбургов, а скорее оттоманская Порта.

В 1762 году 41% из числа 402 высших офицеров и половина из четырех офицеров самого высокого ранга были нерусскими (три четверти из них — немцы). В поздней Российской империи 38% из 550 генералов носили нерусские фамилии, причем почти половина из них происходила из Прибалтики, Польши и с Кавказа. В 1863 году поляки составляли 48% служилых сословий европейской части России. В Западном же крае они доминировали безраздельно, и бывали случаи, когда начальники-поляки делали своим русским подчиненным выговоры за незнание польского языка. Даже после мятежа 1863 года численность поляков в имперском аппарате оставалась весьма значительной (6% высшего чиновничества), а на территории Царства Польского (Привислинского края) они продолжали быть влиятельным большинством: в конце 60-х — 80%, в конце 90-х — 50% местной администрации. Немцы, составляя не более 1% населения России, занимали треть высших чиновничьих и военных постов (в Министерстве иностранных дел их было 57%); 9 из 19 российских посланников в 1853 году принадлежали к лютеранскому вероисповеданию. При Николае I балтийские немцы занимали 19 из 134 мест в Государственном совете (позднее — 9 из 55, то есть в процентном отношении их стало даже немного больше). В XVIII веке более половины членов Академии наук и все ее президенты (за исключением малоросса Кирилла Разумовского) носили немецкие фамилии. По впечатлению сардинского посланника в Петербурге графа Жозефа де Местра (1811), «*страна сия отдана иностранцам и вырваться из их рук может лишь посредством революции*». Ситуация стала меняться только при Александре III, который пытался перейти к русской национальной политике,

но его царствование было слишком коротким, а меры им предпринятые, — слишком паллиативными. Например, в Ревеле в разгар «русификации» 80–90-х годов число русских чиновников, наоборот, уменьшилось.

Во-вторых, пресловутая «русификация» не являлась значимой целью для Романовых (за исключением Александра III). Русское влияние на окраины (не только их ассимиляция, но и даже простое приведение социально-политических и правовых институтов к единому стандарту) было незначительным. В Финляндии, например, православным запрещалось преподавать историю, в то время как финны могли занимать любые должности на территории всей империи. Вообще, княжество Финляндия представляло собой, по сути, независимое государство, имевшее свой парламент (язык заседаний которого был шведский) и не платившее налоги в имперскую казну. Финские товары продавались в остальной России беспошлинно, а русские товары в княжестве пошлиной облагалась; импорт германских зерновых составлял в Финляндии 58%, а российских — только 36%. Русских в Финляндии проживало всего 0,2% (самая малая доля русских в империи).

Немало преференций было и у Польши до восстания 1830 года (например, конституция, сейм, собственные вооруженные силы, валюта, система образования), но даже позднее о ее русификации не было и речи. В Прибалтике доминирующей этнической группой являлись немцы, они даже количественно превосходили русских (6,9% против 4,8%; в Риге в 1867 году 42% против 25%), не говоря уже о качественном преобладании: до 80-х годов XIX столетия (а в сельской местности до 1917 года) власть в крае фактически принадлежала корпорации остзейского дворянства, делопроизводство и преподавание в учебных заведениях велось на немецком языке, на нем же (до 1885 года) рижские бургомистры вели переписку с царским правительством. Об обрусении Туркестана А.В. Кривошеин поставил вопрос только в 1912 году, но до 1917 года делопроизводство там так и не удалось перевести на русский язык. О «русификации» Кавказа и Закавказья, кажется, всерьез никто и не помышлял.

Особый интерес представляет украинская проблема. Обрусение малороссов было вполне выполнимым делом (и крайне насущным, ибо только вместе с ними русские составляли подавляющее большинство империи), стоило лишь наладить на Украине эффективную систему начального образования на русском языке. Но ее так и не наладили, ограничившись серией бесполезных запретов на использовании «рідної мовы» в печати. Финансирование начальной школы осуществлялось из ряда вон плохо — участие государства в расходах на нее составляло всего 11,3% (сами крестьяне давали втрое больше, а земства — 43,3% всех средств). Практически отсутствовали массовые издания дешевой учебной литературы на русском языке. Мощным инструментом ассимиляции могла бы стать также переселенческая политика, тем более что среди украинских крестьян стремление переехать на свободные земли в Сибири, на Урале, на Дальнем Востоке было широко распространено. Но даже после отмены крепостного

права правительство не только не поощряло, а, напротив, препятствовало этому стремлению. Скажем, в 1879 году губернатор Западного края разослал специальный циркуляр, предписывавший не допускать самовольных переселений. И хотя летом 1881 года правительство приняло «Временные правила о переселении крестьян на свободные земли», документ этот не опубликовали, и крестьянам о нем ничего не сообщили, дабы не спровоцировать массового переселенческого движения. Ситуация принципиально изменилась только при Столыпине (характерные цифры: в Северном Казахстане в 1858 году малороссов не наблюдалось вовсе, к концу века их там жило уже 100 тысяч, а к 1917 году — 789 тысяч, причем с каждым новым поколением они все более «русифицировались»). Но время было безнадежно упущено.

О слабости «русификаторского» правительственного проекта свидетельствует и то, что он, по сути, находился в состоянии обороны по отношению к целому ряду других ассимиляторских национальных проектов на территории самой же империи. В Западном крае это была полонизация литовцев и восточных славян через местную польскую систему начального образования. Украинский национализм к концу XIX века обрел организационный и идеологический центр в австрийской Галиции с мощной издательской базой, научными и просветительскими учреждениями, а позднее и политическими партиями, которые возникли на десятилетие раньше, чем в Российской империи. Система образования в прибалтийских губерниях вплоть до 70-х годов XIX века была инструментом онемечивания латышей и эстонцев. Даже в Поволжье и Оренбургском крае в деле ассимиляции местных малых народов с русскими весьма успешно соперничали татары.

Таким образом, самодержавие проводило традиционную (и уже архаичную для XIX века) политику имперской «равноудаленности», в то время как культурно-политические элиты ряда народов империи вполне успешно занимались нациостроительством. Романовы, не понимавшие сути национального вопроса в Новое время, не только блокировали русское нациостроительство, но и объективно подрывали основы своей собственной империи, взращивая окраинные национализмы (в лучшем случае, слабо и неэффективно им сопротивляясь).

Самое же главное в том, что русские не только не были привилегированной этнической группой в Российской империи, но, напротив, — одной из самых ущемленных. Разумеется, речь идет не о дворянстве, верхушке духовенства или буржуазии (вкупе они составляли не более 2% русского этноса), а прежде всего о крестьянстве (даже к 1917 году — более 70% русских, а ранее — более 90%). Налогообложение великорусских губерний в сравнении с национальными окраинами было больше в среднем на 59% . Вот, например, такой факт. С 1868 по 1881 год из Туркестана в Государственное казначейство поступило около 54,7 млн рублей дохода, а израсходовано было 140,6 млн, то есть почти в 3 раза больше. Разницу, как говорилось в отчете ревизии 1882–1883 годов,

Туркестанский край «изъял» за «счет податных сил русского народа». В 90-х годах государство тратило на Кавказ до 45 млн в год, а получало только 18 млн, естественно, дефицит в 27 млн опять-так